

Александр Иванович Куприн

Родина



Александр Иванович Куприн

Родина

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2474185

Аннотация

«Странными становятся вещи, явления и слова, если в них начнешь вникать глубоко и всматриваться настойчиво. Всегда показываются новые грани и оттенки...»

Александр Иванович Куприн Родина

Странными становятся вещи, явления и слова, если в них начнешь вникать глубоко и всматриваться настойчиво. Всегда показываются новые грани и оттенки.

Вот понятие – Родина. Каким оно может быть зверино-узеньким и до какой безмерной, всепоглощающей, самоотверженной широты оно может вырасти.

Я знал любовь к ней в самой примитивной форме-в образе ностальгии, болезни, от которой умирают дикари и чахнут обезьяны. С трехлетнего возраста до двадцатилетнего я – москвич. Летом каждый год наша семья уезжала на дачу: в Петровский парк, в Химки, в Богородское, в Петровско-Разумовское, в Раменское, в Сокольники. И, живя в зелени, я так страстно тосковал по камням Москвы, что настоящей потребностью – потребностью, которую безмолвно и чутко понимала моя мать, – было для меня хоть раз в неделю побывать в городе, потолкаться по его жарким, пыльным улицам, понюхать его известку, горячий асфальт и малярную краску, послушать его железный и каменный грохот.

Однажды – мы тогда жили в Химках, 21-я верста по Николаевской железной дороге – случилось так, что в доме день-

ги были в обреш. Я пошел в Москву пешком, переночевал у знакомого причетника и пешком вернулся назад, совсем голодный, но с душою насыщенной, отдохнувшей и удовлетворенной.

Но особенно жестокие размеры приняла эта яростная «тоска по месту» тогда, когда судьба швырнула меня, новоиспеченного подпоручика, в самую глушь Юго-Западного края. Как нестерпимо были тяжелы первые дни и недели! Чужие люди, чужие нравы и обычаи, суровый, бледный, скучный быт черноземного захолустья... А главное – и это всего острее чувствовалось – дикий, ломаный язык, возмутительная смесь языков русского, малорусского, польского и молдавского.

Днем еще кое-как терпелось: застилалась жгучая тоска службой, необходимыми визитами, обедом и ужином в собрании. Но были мучительны ночи. Всегда снилось одно и то же: Москва, церковь Покрова на Пресне, Кудринская Садовая, Никитские – Малая и Большая, Новинский бульвар...

И всегда во сне было чувство, что этого больше никогда я не увижу: конец, разлука, почти смерть. Просыпаюсь от своих рыданий. Подушка – хоть выжми... Но крепился. Никому об этой слабости не рассказывал.

Да и как было рассказывать? По долгу службы мне нередко приходилось производить дознания о случаях побега молодых солдат со службы. Вряд ли кто-нибудь из моих сослуживцев чувствовал так глубоко всю невинность их преступ-

ления против присяги. Разве и меня не тянуло хоть на минуточку удрать в Москву, поглядеть ее, понюхать? Но я уже был во власти дисциплины. И я был начальник.

Однако эти жестокие чувства прошли. Что не проходит со временем? Потом я изъездил, обошел, обмерил почти всю среднюю Россию. Улеглось «чувство к месту».

А еще потом я побывал за границей. Оказалось, что моя ностальгия только расширилась. Была всегда нерушимая, крепкая душевная основа: «А все-таки там дом. Захочу – и поеду». Но наступал переломный момент. Большая Медведица. Вечером увидишь ее, проведешь от двух крайних правых звезд линию вверх, упруешься почти в Полярную Звезду. Север. И потянет, потянет в Россию, не в Москву, а в Россию. Запихана кое-как в чемодан всякая хурда-мурда, третий класс, и... езда.

А теперь болезнь потеряла остроту и стала хронической. Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры... Но всё точно по-нарошку, точно разворачивается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру.